

ПРОЛОГ

ПРОМЕЖУТОК ПЕРЕХОДА

1

Все, что мне осталось, — это смотреть на людей в метро. Каждый день я спускаюсь в переход между двумя станциями, чтобы смотреть на них, вдохновляться и писать их имена на тонкой рисовой бумаге. Я сажусь в длинном тусклом переходе и вывожу буквы. Отныне я буду сидеть здесь и писать каждый день, подобно тому, как художники пишут свои полотна на пленэре. Только я пишу не картины, а имена — на китайском, арабском, японском, хинди, древнеегипетском. Кто на каком пожелает...

Пусть здесь душно и неудобно, я буду писать, я буду стараться сосредоточиться, стараться выводить маленькие или размашистые буквы на салфетках, так я называю прозрачную рисовую бумагу.

Каждая салфетка, если ее развернуть, размером с плитку керамогранита, которой обложены стены перехода. Они напоминают надгробные плиты с эпитафиями каждой мелькнувшей в моей жизни душе.

Как там надгробный стих на могиле Китса: «Здесь лежит тот, чье имя начертано на воде». Написание иероглифов дождевой водой на асфальте или краской на водной глади — та еще медитация. Вода вбирает в себя все, в том числе запахи, время и имена. Йейтс, Элиот, Фрост. Впрочем, мне гораздо больше нравится эпитафия, которая начертана на могиле Уайльда: «Все мы сидим в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды». Или на могиле Коперника: «Остановивший Солнце — двинувший Землю».

Солнце — звезда, что рисует лучами иероглифы в небе и на земле. Но в моей жизни была звезда и поближе: это ты, Мелисса. И потому я буду чертить твое имя, буду писать его на салфетках, которые набрал в уличных кафе, или в клетках тетрадок, которые купил на распродаже после того, как отзвенел первый звонок, да и второй, и третий звонки уже отзвенели, и тогда уже неприлично метаться и стонать зрителю в зале. А можно только принять правила игры, вжаться, будто в кресло взлетающего лайнера, в сиденье и покорно склонить голову перед представлением, которое проходит без тебя и, в общем-то, если быть до конца честным, не для тебя.

— «Наконец счастлив» — вот идеальная эпитафия! — воскликнул как-то в ответ на мои рассуждения Алистер. — И заметь, написана она на могиле физика и математика, что лишний раз подтверждает, что ученые точнее, лаконичнее, логичнее и, как следствие, умнее вас, гуманоидов.

Сам Алистер — физик и математик. И это он привел меня на кладбище и пристрастил бродить меж могил и читать эпитафии. Он же научил меня каллиграфии и рассказал мне о памятнике, который хотел бы видеть на своей могиле. А еще он приучил меня лежать на чужих могилах и смотреть на звезды глазами мертвых.

2

«Представление!» Вы заметили? Я сказал «представление». Будто я хочу снять с себя всякую ответственность, уклониться от действия и остаться лишь наблюдателем. Будто я хочу жить так, чтобы целыми днями только и делать, что посещать театр или даже театры и созерцать. Будто я хочу жить и после смерти. Будто я хочу жить и после третьего звонка и все так же обладать пятью чувствами. Видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус.

Я вытягиваю руку и касаюсь пятью пальцами чуть шершавой поверхности плитки, на которой было начертано твое имя, стертое со временем ветром, смытое от людских глаз водой. Про эту надпись знаем только я и духи.

Чтобы в подземке у меня была связь с духами, я почтительно снимаю шапку и кладу ее возле себя на пол. Так я прошу о покровительстве, попутно прикидываясь попрошайкой. Иногда прохожие кидают деньги. Они думают, что я слабоумный, перебираю-

ций пустые бумажки, что я здесь ради денег. Некоторые еще считают меня местной достопримечательностью, городским сумасшедшим, бормочущим под нос непонятные слова и странные заклинания. Но на самом деле я не слабоумный. Я кидаю шапку как отмазку от фараонов. Чтобы залетные менты-фараоны-бандиты не думали, что я тут развил особо прибыльный иероглифический бизнес, и не отвели меня за шкуру в налоговую или в участок.

Да, на этот случай рядом со мной лежит моя гитара, и время от времени, если милиция рядом и есть опасность, я делаю вид, что я уличный музыкант-трубадур, который уже собирается покинуть переход. А с уличных музыкантов, с этих юродивых бедолаг — поэтов и бродяг — какой может быть спрос? Нам бы, художникам, себя прокормить! Если шапка лежит, значит, я ничем не торгую. Наоборот, подаю и продаю мне. Иногда подходят торговцы и предлагают свой товар — ручки с тройным стержнем и супер-пупер чернилами и карандаши со стирающими ластиками на другом конце. Старатели со стирателями — так их здесь называют в шутку. Этими стирателями от старателей я уничтожаю неудавшиеся иероглифы.

3

Удавшиеся иероглифы я отдаю людям за сумму, которую им не жалко за свой заказ. Иностранцы туристы или загулявшие бизнесмены жертвуют крупные

купюры. Наркоманы или студентки — яблоко или печенье. Бродяги предлагают налить.

Оборотни в погонах забирают у меня половину выручки. Треть мыслей, образов и слов, пришедших мне в голову как стихи, оказываются незаписанными из-за суеты вокруг. Треть из оставшихся выветриваются из памяти. Еще треть оказываются никчемным мусором. Но это и не важно. Придут еще. А эти пусть текут себе прочь.

Десять процентов — вот мой доход и прибыль. Будто я какая ходячая церковь, живущая на подаяния. Впрочем, так оно и есть — я живу на подаяния. Я подсчитал, что за день писанины мне накидывают в шапку в среднем тысячи три-четыре рублей. Треть, как я уже говорил, забирает милиция на горячий чай с пирожками в соседнем киоске. Половину оставшегося присваивает крыша подземки. Их у меня собирает за арендованное место безрукий-безногий Радий на инвалидной коляске.

Арендованное у кого? Воздуха? Пустоты? Улицы? Космоса? Звучит-то как: «крыша подземки»! Пожалуй, так стоило бы назвать поэму, напиши я ее однажды. Но это вряд ли. В день я пишу не больше одной песни-стиха и сотни три имен. Выходит, каждая моя строка стоит около десяти рублей. Меня это и печалит, и радует.

Печалит то, что мой труд так малооплачиваем; радует, что я еще вообще хоть что-то стою. Когда радуюсь, я выдавливаю из себя строку, словно пасту с мелиссой из тюбика на щетку.

Помимо гитары, я ношу с собой ящичек с красками и кистями, с щеткой и гуталином. Я еще ни разу никому не начищал обувь, но однажды мне, возможно, и это предстоит, если только мои иероглифы вдруг перестанут пользоваться спросом и ничего не останется, как замазать белую поверхность гуталином.

Ящик и гитара — мои щит и меч, мои котомка и посох. Для арлекина и трубадура вроде меня — это незаменимые неземные вещи. Ящик мне служит еще стулом или столом, когда я исполняю песни или пишу имена. Я сажусь на него и, как чистильщик обуви, втираю чернила в бумагу, натираю, шлифую, стараясь белую пустую гладь превратить в замаранную, в поверхность хоть с каким-то смыслом и именем.

Когда никто ко мне не обращается, я для тренировки и медитации пишу твое имя. Потому что я сижу здесь не ради себя, а ради тебя, Мелисса.

Я знаю: однажды наступит такой день, и ты пройдешь мимо меня по переходу. Просто не можешь не пройти по теории вероятности. Ведь когда-нибудь ты приедешь в центр погулять с новым возлюбленным или со старыми друзьями. Наверняка тебя будет тянуть туда, где мы провели столько месяцев.

4

В длительном периоде все побочные эффекты — внешность и статус — разрушатся. Потому что пере-

ход — промежуточное положение между одним состоянием и другим. И здесь, как нигде, понимаешь, что все мимолетно, все преходяще. В итоге будет жить только текст. Главное, оставаться идеалистом и верить. Вся наша жизнь — только переход из одного состояния в другое. Промежуток между первым, вторым и третьим...

Как сказал Гадамер, автор — случайный элемент, который рано или поздно отпадет. Рассыплется в прах. И потому не стоит в первую очередь думать о животе своем.

Хотя почему бы и не подумать. Когда я хочу есть, я хожу в столовую номер один. Собранных денег хватает, чтобы заказать простые первое, второе, третье...

Живу я в маленькой отдельной каморке в центре города, с маленькой кухонькой, отделенной от комнаты картонкой и буфетом. В дворницкой, которую мне позволили арендовать у города, когда я только приехал сюда и устроился работать в услужение Великому Питеру в ЖЭК или ТСЖ. Меня даже прописали здесь, а теперь не могут выписать и выкинуть по закону, потому что другого жилья у меня нет. На самом деле надо мной сжалилась начальница ЖЭКа, сердобольная женщина. Это она, а не Питер, прониклась ко мне симпатией и за энную сумму уступила «каморку папы Карло», как я ее называю.

Можно сказать, мне повезло, потому что плачу за коммуналку совсем немного. У меня есть один знако-

мый, Макс, который такие же деньги платит посуточно за койко-место в хостеле. Причем в том же самом доме и даже в том же самом подъезде...

Работает знакомый аниматором. А проще говоря, в костюме зебры или льва или петуха раздает флаеры на Невском. Точнее, рекламные буклеты закускойной «КФС», фирменного магазина «Зенит» или приглашительные в салон «Розовая пони». Так и написали в женском роде, заманивая одиноких мужчин.

В народе за наряды пони и льва Макса прозвали Сфинксом. И платят ему за этот маскарад что-то около тысячи в день. Из них рублей 600–700 он отдает за койко-место в хостеле. Если отстегивать заранее за весь месяц сразу, то можно сговориться и на пятьсот. А в не сезон на все четыреста. Хотя я так и не понял, когда в Питере наступает не сезон, если здесь круглый год дожди, слякоть, туманы и полно туристов.

Иногда Макс-Сфинксу удастся подработать на детском празднике. Ему даже переодеваться не нужно. Он бросает флаеры в урну и в том же костюме, который выдают ему каждое утро, идет в какое-нибудь кафе в центре на «день рождения — праздник детства». Или едет на окраину в садик на утренник изображать бременского музыканта.

— Дети — самые прекрасные зрители, — утверждает Макс, — ты бы видел их глаза. Они реально верят, что я кентавр, когда я появляюсь в костюме лошади без головы.

— А в костюме петуха и с головой барана? — под-
начиваю я Сфинкса, потому что знаю, как ему не по
душе его кличка.

— Не, такого не бывает, потому что в фирме мне
выдают только один костюм на день.

После рассказа Сфинкса я думаю о детях, теряющих
чистоту и непосредственность восприятия. И веру
в чудо. Давно ли прозвенел их первый звонок? А послед-
ний звонок? А третий перед началом спектакля, когда
поднимается занавес? А тот звонок, после которого все
маски сброшены? Давно ли нарядные детишки — маль-
чики в первых своих костюмах и белых рубашках и де-
вочки с косичками-хвостиками и большими банта-
ми — пошли в лакированных туфельках в школу,
познакомились, встали на линейку, заняли парты, вы-
учились, выпустились, занавес опустился, свет погас,
оркестранты ударили по струнам, и вот он я — в пере-
ходе метро. Пишу их взрослые имена...

— Я для себя решил однажды, что глупо уходить
со второго акта. Пьесу нужно досмотреть до конца, —
ответил как-то безрукий-безногий попрошайка Ра-
дий на мое замечание, что лучше таким паразитам,
как мы, и вовсе не жить на белом свете.

— Даже если спектакль окажется дрянь?

— Если дрянь, тем более, — махнул он рукой на
приклеенные к стене бумажки с телефонами. — Во-
круг столько интересного.

«Группа грузчиков поможет с мебелью. Интим не
предлагать».

— И чем тебя привлекло это объявление? — поддел я Радия в обычной манере. — Хочешь подзаработать на допуслугах?

— Я хочу, чтоб у меня были руки и ноги и я мог нести тяжесть на своих плечах!

— Мне хоть не ври! Тебе удобно наблюдать за пьесой из твоего кресла-качалки, — указал я смотрящему за переходом на его инвалидную коляску, — неплохо устроился.

— А тебе-то че трудного? — ухмыльнулся Радий. — Тоже мне, возомнил себя поэтом на минималках.

Радий был прав. Еще со школы, с первых заученных стихов, я научился вставать в позу: Бодлер, Верлен, Рембо... Проклятые поэты, неистовые романтики. Да, иногда я думаю, что я какой-нибудь «отверженный». Я сравниваю себя с бедолагой Рембо, с этим уличным певцом, вкусившим страданий и боли поболе моих, и мне от этого сравнения становится легче. У отверженных, изгнанных, обреченных, проклятых своя гордость. Отчуждение творчества от жизни. Экзистенциальная трагедия. Декаданс.

5

В столовой я продолжаю наблюдать за людьми: за веселыми, вечно смеющимися подростками, за школьниками и студентами, за стариками, с трудом сгибающимися колени, за озабоченными жизнью и сумками

мамашами, за влюбленными, устроившими в Питер романтический тур. Как бы мне хотелось написать их портреты. Но я не художник, я могу написать лишь имена, которые, впрочем, тоже пользуются спросом.

Иногда я задаю себе вопрос, почему люди так хотят, чтобы их имена были написаны еще на каком-нибудь непонятном им языке доморощенным каллиграфом вроде меня?

Они все равно не знают букв и иероглифов, не умеют читать. Но они готовы платить деньги, чтобы получить свое имя на абракадабрском. Я думаю, это как с фотокарточками. Хочется запечатлеться еще в одном измерении. Еще в одной стране. Смотрите: я был в Барселоне или в Палермо. Я тоже здесь был. Смотрите: за моей спиной Миланский собор. А вот и Тадж-Махал. Какой смысл фотографироваться на фоне городов, которые тебе не по карману и в которых ты проездом? Или на фоне картин, которые написал не ты?

Наверное, в нас так проявляются жажда бытия или ген грамматики. Иначе откуда у людей такое уважение к написанному? А еще наше желание казаться, а не быть. Казаться чем-то бóльшим, чем есть на самом деле. Пусть не большим, хотя бы загадочным.

Да и мы со Сфинксом, по сути, такие же. Показушники. В Столовой номер один мы заказываем почти одно и то же, чтобы не вылезти за рамки бюджета двести рублей. Но стоит рядом показаться симпатичной мордашке, как ослиный хвост пистолетом.

Я смотрю, как Сфинкс раскрывает пасть осла и закидывает в него большой бургер.

— Какие же мы с тобой все-таки ничтожества, — говорю я ему.

— Чего это? — перемалывает он челюстями бургер. Кажется, его ослиные зубы работают как жернова. Аппетит у него отменный.

— Да вот просто пришло в голову, что мы ничтожества и что больше всего мы думаем о еде. Причем о такой паршивой еде, которую приличные люди не то что есть, даже думать о ней не могут. Иначе их тут же вырвет.

— Все люди думают о еде в той или иной мере. И бедные, и богатые.

— Вот. Потому что человек всего лишь биологическая машина, которой нужно топливо. И ее можно запрограммировать как угодно, внушить что угодно.

Я молчу, думая, что мы действительно биологический механизм, робот. И о том, что однажды, когда мы износимся, у нас для сохранения энергии отключатся сначала воспроизводительная функция, а потом и двигательная.

— Знаешь что? — Сфинкс приближается ко мне почти вплотную. — Я вот хожу по Питеру в обличье осла и иногда думаю, что я и есть осел. Даже повадки ослиные стал перенимать, смех там и все такое.

— А как же кентавр? — вопрошаю я. — Мы же решили, что ты — кентавр.

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог. Промежуток перехода.....	3
Глава 1. Крыша подвала	19
Глава 2. Данаи	34
Глава 3. Бар «Трибунал»	44
Глава 4. Бомж или античный герой	55
Глава 5. Балерун кордебалета	74
Глава 6. Совсем другая Мелисса.....	91
Глава 7. Мост Искателей	104
Глава 8. Близкие люди	114
Глава 9. Сестры М	128
Глава 10. Крах Кранаха	138
Глава 11. Истинное лицо.....	148
Глава 12. Бомба с заведенным механизмом	162
Глава 13. Обо мне	173
Глава 14. Ревность и расставание	189
Глава 15. Два стула.....	207
Глава 16. Актерское мастерство.....	216
Глава 17. Охранник Дома Мертенса	232
Глава 18. Щит Персея.....	253
Глава 19. Скелет в шкафу.....	267
Глава 20. Отец и сын	289

Глава 21. Призрак	301
Глава 22. Профессор кислых щей	322
Глава 23. Модельная копия девушки	339
Глава 24. Парадокс Тесея	355
Глава 25. Мертвая мать	369
Глава 26. Живые для живых, мертвые для мертвых.	386
Глава 27. Смертный приговор	394
Эпилог. Адская лотерея: черное и белое	402